



В. С. СОЛОВЬЕВ

Несколько личных воспоминаний о Каткове¹

Я решился написать и напечатать эти воспоминания потому, что хочу избежать упрека в неблагодарности, сказав об этом человеке — имевшем ко мне некогда доброе расположение — все то хорошее, что по совести могу сказать о нем. Может быть, так же помянет меня добрым словом и за эти немногие строки тот, кто в будущем посвятит жизнеописанию Каткова такой же усердный и всеобъемлющий труд, какой ныне посвящается Погдину досточтимым Н. П. Барсуковым.

Во время моего детства Катков был в довольно близких, приятельских отношениях с моим отцом, который затем понемногу с ним разошелся, — впрочем, без какой-либо личной ссоры. В это время я не раз видал мельком Каткова, но в детских моих воспоминаниях он не оставил ясного образа. В конце 1873 года, будучи после университета вольным слушателем Московской духовной академии, я написал статью «Идея и личность в язычестве и еврействе»² и доставил ее в редакцию «Русского вестника», Катков пожелал познакомиться со мною лично — и при свидании сказал, что моя статья его обрадовала, напомнила ему молодые годы, лекции Шеллинга в Берлине, но что для журнала она не годится, как слишком отвлеченная и не связанная ни с каким текущим интересом.

Такой отказ не мог меня, конечно, обидеть, и я продолжал изредка посещать Каткова. В следующем году был мой магистерский диспут, по поводу которого Катков поместил сочувственную заметку и письмо Погодина, а затем принял в «Русский вестник» две мои полемические статьи — против г. Лесевича и К. Д. Кавелина³. В это время (в 1875 г.) я довольно часто бывал

в редакторском кабинете Каткова, и особенно памятен остался мне разговор с ним, происходивший вскоре после смерти его ближайшего друга и сотрудника, ученого филолога и педагога П. М. Леонтьева. То, что говорил Катков и как он говорил о воскресении мертвых и о духовной телесности, не оставило во мне никаких сомнений в искренности и глубине его личных религиозных убеждений. Вместе с тем, он горячо говорил о необходимости церковных преобразований, о ненормальном положении у нас богословской науки, высказывая большую широту взглядов и большую смелость оценок. Вскоре после этого разговора я уехал на год за границу. Вернувшись в Москву, я часто заходил к Каткову и поздней ночью, и во время его утреннего чая, т. е. во втором или третьем часу дня. Я был тогда доцентом Московского университета по той самой кафедре, с которой некогда преподавал Катков. Наши разговоры нередко касались философских предметов. Катков говорил очень своеобразно: отрывочными краткими изречениями и намеками. Один, более длинный разговор остался у меня в памяти. Дело шло об атомизме и гипотезе всемирного эфира. Катков издевался над наивностью ученых, переносящих эмпирическую видимость в такие области, которые недоступны никакому опыту. «Колебание эфира — биллион колебаний в секунду — им это нипочем! Считают как у себя в кармане. Что же, собственно, такое эти вибрирующие частицы? — Абсолютная реальность? — значит, до азбуки философской не дошли! Или явления? — Кому же они являются? — Кто их видал? — Какие инфузории? Биллион колебаний в секунду! Им и в голову не приходит вопрос о природе времени. — Берут его себе, как какое-то неистощимое сокровище! — Чепуха! Бессмысленный набор слов!»

Я с удовольствием слушал эту импровизацию, будучи вполне единомышленником Каткова в метафизике. До некоторой степени пришлось мне в это время быть или казаться сторонником Каткова и не в одной метафизике.

В университетах, печати и обществе шли ожесточенные споры из-за университетского устава. Самым деятельным защитником министерской реформы, осуществленной впоследствии в уставе 1884 г., был ближайший после смерти П. М. Леонтьева сотрудник Каткова, профессор физики Н. А. Любимов⁴ (умерший в нынешнем году). Среди своих московских товарищей он

не имел в этом вопросе ни одного сторонника. Мой отец, бывший тогда ректором, стоял за сохранение старого устава 1863 г., никак не потому, чтобы считал его безукоризненным, а потому, во-первых, что по своей опытности предвидел, что новая реформа при данных условиях не исправит, а испортит дело, — как оно и вышло впоследствии, — а во-вторых, он, друг Грановского, верный гуманистическим и либеральным преданиям сороковых годов, не мирился с тем, что новый устав не столько вводился, сколько навязывался, — что сторонники реформы действовали, как он выражался, *нахрапом*. По существу же он относился к университетам гораздо радикальнее, нежели Катков: я не раз слышал от него мнение, что при теперешнем раздроблении всех наук и при отсутствии общепризнанной объединяющей системы, богословской или философской, высшее соединение ничем внутренне не связанных между собой специальностей есть в Европе традиционный остаток пережитого средневекового строя, а у нас — лишь произведение неосмысленной подражательности.

Разделяя вообще этот взгляд моего отца, я, по молодости, был более, чем он, чувствителен к некоторым вопиющим нелепостям действовавшего устава, по которому, например, превосходный знаток славянских наречий или греческих древностей, единогласно избранный на кафедру своим факультетом, мог быть окончательно забаллотирован советским большинством из медиков и математиков на основании каких-нибудь партийных соображений.

Катков и Любимов выставляли свой университетский проект с лицевой стороны, указывали на свободу преподавания вследствие отделения государственных экзаменов от профессорских курсов, на будущий подъем научного уровня лекций вследствие соревнования приват-доцентов, на устранение кружковых дрязг и интриг, и т. д. Принципы у нового устава были действительно хорошие, и я, по неопытности, мало обращал внимания на непрактичность хороших немецких принципов в условиях русской действительности. Во всяком случае, я не имел оснований видеть в Любимове того черного злодея, каким он представлялся профессорской коллегии. Ожесточение против него дошло между тем до того, что было решено не разговаривать и не здороваться с ним. Этому решению не подчинились только

двое: мой отец, очень нерасположенный к Любимову, но находивший для себя непозволительным, как ректору, участвовать в подобных демонстрациях, — и я, считавший их несправедливыми по существу. Таким образом, появляясь в профессорской комнате, Любимов подходил только к моему отцу и ко мне. Отец был с ним неизменно учтив, а я — демонстративно любезен. Столкновение 23-летнего доцента с целой университетской коллегией могло, конечно, иметь только два исхода: или подчинение диссидента, или его удаление. Я предпочел последнее и простился с Московским университетом.

Это было в декабре 1876 г., а летом следующего года произошел со мною трагикомический эпизод, более прямым образом связанный с Катковым. Ему показалось практичным отправить меня на театр военных действий в качестве политического корреспондента «Московских ведомостей». В то время И. С. Аксаков указал на меня кн. Черкасскому для занятия учебным и церковным делом в будущем болгарском государстве. Моя экспедиция в Турцию была очень кратковременна, и про нее можно сказать только: все хорошо, что хорошо кончается. Во всяком случае, могло бы кончиться гораздо хуже. В Свиштове (Систово) я счастливо избежал от смертной казни, грозившей мне за публичное оскорбление военного коменданта, а на дальнейшем пути благополучно миновал турецкого плена, которому легко бы мог подвергнуться вследствие ошибки возницы, свернувшего с тырновской дороги на рущукскую, через линию, занятую турецкими войсками, действовавшими против отряда цесаревича.

К счастью, пикет, на который мы наткнулись, принадлежал не к башибузукам, а к низаму, и флегматично дозволил нам повернуть назад. Приехав в Тырново, я отправился с рекомендациями от отца и от Каткова к одному знакомому им адъютанту главнокомандующего, который представил меня великому князю⁵, справедливо заметившему, что я «чрезвычайно молод». Из лагеря я пошел на квартиру князя Черкасского. Я увидел его на крыльце с нагайкой в руке, в полувоенном мундире, жестоко разносящего нескольких болгар в сюртуках и даже фраках.

Более сильных бранных слов и более громких окриков я, кажется, не слышал во всю свою жизнь. Но лица этих освобожденных братьев, или — на языке князя — «анафемские рожи этих архибестий» ясно показывали, что они не без удовольствия

принимали отеческое внушение, как милостивую замену хорошо заслуженной виселицы. Отпустив их с миром, хотя и не с честью, кн. Черкасский ввел меня в свою комнату и, после первых расспросов, стал говорить о положении дел. Он был разочарован, утомлен и раздражен. О гражданском устройении Болгарии ввиду неожиданного наступления турецких сил из-за Балкан не могло быть и речи. Но он советовал мне все-таки остаться: — Я Вас причислю к своей канцелярии с порядочным содержанием. — Но что же я буду у вас делать? — Ничего не делать. — И получать жалованье? — Конечно, как все.

Я, по своей «чрезвычайной молодости», нашел, что «все» поступают неправильно, — и простился с кн. Черкасским, пожалев о краткости своей беседы с этим замечательным человеком. На другой день у меня усилилось уже раньше явившееся чувство чего-то неладного. Мне стало совестно без пользы болтаться среди этих солдат и офицеров, на себе переносящих тяжелое и опасное историческое дело, — и я решил ехать обратно, пославши Каткову всего две корреспонденции, из которых одна пропала дорогой. Я должен здесь помянуть добрым словом ту тонкую деликатность, которую показал Катков в этом случае. Благодаря его деликатности я мог выйти из неприятного положения относительно газеты, без всякой обиды для своего самолюбия и без особых материальных затруднений.

Осенью того же года я начал печатать в «Русском вестнике» свою докторскую диссертацию «Критика отвлеченных начал»⁶. Катков ее внимательно читал и совершенно основательно исключил одну главу, слишком подробно излагавшую мой тогдашний утопический идеал общества. В 1881 году мне пришлось невольно причинить своему доброжелателю сильное огорчение. В конце марта этого года я читал публичную лекцию против смертной казни. Это была, собственно, не лекция, а импровизированная речь, — без всякого конспекта и даже чернового наброска, — речь на ту тему, что смертная казнь по существу несовместима с христианской религиею и, следовательно, не должна узаконяться в христианском государстве⁷. Вместе с апокрифическими записями, этой речи стали ходить о ней в Петербурге и тем более в Москве самые фантастические рассказы, отголоски которых дошли до заграничных газет. Через несколько дней получаю тревожное письмо от Любимова:

«Объясните ради Бога, что случилось, что такое вы наговорили. Здесь ходят невероятные слухи. Михаил Никифорович, который вас так всегда любил, глубоко огорчен и со слезами говорил мне, что ваша речь — оскорбление народного чувства, дерзкий вызов целому обществу...»

Конечно, говоря свою речь, я менее всего думал о той *посторонней* точке зрения, с которой Катков взглянул на это дело. При свидании он не заговаривал об этом происшествии, а я не находил полезным и приличным поднимать спор против старика. Таким образом, наши добрые отношения продолжались еще некоторое время. Но уже выяснилось принципиальное несогласие, при котором дальнейшая практическая солидарность становилась невозможной. Я видел, что для Каткова предполагаемое мнение народа, т. е. личное мнение Каткова о мнении народа, — было высшим критерием истины и добра.

Последний раз я видел Каткова в августе 1884 г. в Петербурге. В это время явилось, наконец, на свет Божий после многолетнего вынашивания в бюрократической утробе одно из любимых детищ Каткова — новый университетский устав. Творец его и торжествовал, и тревожился за будущее: печальный опыт гимназической реформы не внушал доверия. Меня позвал «на Каткова» один наш общий приятель, прикосновенный к Министерству народного просвещения. Кроме меня были позваны приезжий из-за границы известный хорватский историк, каноник Рачки⁸, и его земляк, петербургский академик Ягич⁹. Катков говорил об университетском уставе и обращался больше ко мне. Он настаивал на принципиальной стороне дела. «Исполнение — это понемногу, со временем, само собою! Главное, принцип: установлен принцип — дело выиграно». Слышался старый шеллингианец, очевидно, было желание сойтись на философской, идеальной почве. Но под конец вдруг сказался Катков 1864 г. Когда Рачки и Ягич, прощаясь с хозяином, сказали, что на завтра они приглашены в римско-католическую академию, Катков горячо воскликнул: «Не в *римско-католическую*, а в *польско-католическую*! С римским католичеством мы бы не спорили, но у нас его нет, у нас только одно польское». Вскоре я узнал, что у Каткова был в это время план преобразования католической иерархии в России через замену епископов-поляков хорватами и чехами; мой друг Рачки был намечен как кандидат

на могилевскую митрополию, от чего он уклонился, не желая расставаться со своею родиной.

Через год после этого свидания появились в «Русском вестнике» программы государственных экзаменов с объяснительными записками. Одна из этих записок, по юридическому факультету, была, как говорили, написана Катковым, а вернее — была составлена при его ближайшем участии. В ней заключалось сжатое выражение его культа государственности как единого верховного начала народной жизни, причем русская церковь одобрялась за то, что она всецело отказалась ото всякой власти в пользу государства.

Я в то время переживал период острого увлечения теократической идеей в ее церковной форме, и *profession de foi* Каткова задела меня за самое сердце. Написав очень резкий разбор записки, я прочел его трем лицам: Т. И. Филиппову, гр. А. А. Голенищеву-Кутузову¹⁰ и покойному Н. Н. Страхову, который нашел, что моя статья есть точное выражение истинно славянофильского взгляда и потому не должна иметь личной подписи: «пусть она представляет нашу общую мысль!» Я последовал этому совету — и статья появилась в «Руси» Аксакова без моей подписи, с тремя наудачу выбранными буквами П. Б. Д. Катков заметил мою вылазку против него, и месяц или два спустя я прочел в передовой статье «Московских ведомостей» несколько его бранных слов по этому поводу.

Лето 1886 г. я провел в Загребе, пользуясь радушным гостеприимством того самого каноника Рачки, которого Катков прочил в митрополиты наших католиков. Мой хозяин, получавший «Московские ведомости», был большим почитателем Каткова, находя у него настоящий государственный ум, в отличие от славянофилов, которых считал более риторам, нежели политиками. Он идеализировал взгляды своего любимого публициста, который, по его словам, ничего не имел против самой широкой автономии польского народа в его этнографических пределах. «У Каткова об этом те же самые мысли, как у нас с вами», — уверял он меня. Однажды — это было 20-го июля — я прочел передовую статью «Московских ведомостей» о национально-церковных вопросах, написанную, очевидно, под исключительным действием политической страсти, с полным забвением нравственных требований христианства. Я пошел излить свое него-

дование перед смущенным Рачки, который на этот раз со мною не спорил, потому что при всем своем крайнем русофильстве и политиканстве он был хорошим, добросовестным священником. Но в то время, как я негодовал на Каткова, вдруг всплыл в моей памяти духовный облик этого человека, каким я знал его в лучшие минуты с его глубоким благочестием, сердечною добротой в личных отношениях и высоким пониманием христианских идей. Я очень сильно почувствовал и желание, и обязанность сделать все от меня зависящее для духовной пользы этого человека, который, очевидно для меня, находился под наваждением злой силы. Я ушел в свою комнату, и мое душевное волнение разрешилось длинным письмом к Каткову, с такою главною мыслью: Вы увлечены политической идеей, она вам кажется чем-то самым важным; но вообразите себя на смертном одре, при переходе в другой мир: неужели и тогда идея *крайне-го* национализма по отношению к инородцам сохранит для вас какую-нибудь важность? А если не сохранит — то, значит, это есть идея временная, преходящая, недостойная увлекать собою мыслящего человека и христианина... Письмо на эту тему вышло, помнится, большое. Я сам отнес его в загребский почтамт и отправил заказным на имя моего младшего брата, с поручением лично доставить на Страстной бульвар, что и было исполнено.

Ровно через год, 20-го июля 1887 г., Катков скончался. Деятельность Каткова за последние 23 года его жизни, вызывая восторженные похвалы в редящем кружке его безусловных приверженцев, подвергается в остальном обществе всем степеням осуждения, доходящего до явной несправедливости. Из-за некоторых сторон этой деятельности должен был и я с ним разойтись, несмотря на все, что привлекало меня к нему в других отношениях. Но именно этот *принципиальный* характер моего разрыва с ним составляет для меня и право, и обязанность не скрывать своих личных впечатлений и решительно сказать, что, какова бы ни была внешняя деятельность Каткова, он не исчерпывался ею: в нем было другое и лучшее. И на основании этого другого лучшего, что я видел и испытал, я должен еще заявить, что никогда не поверю, чтобы Катков был способен в важных вопросах кривить душой, сознательно изменять свои взгляды и свои указания ради каких-нибудь низменных своекорыстных соображений. Этот человек доказал, что в решитель-

ную минуту он способен все поставить на карту, готов рисковать всем своим личным положением и благополучием ради того, что он считал пользой своего отечества. А что он под конец перестал ясно различать интересы своего властолюбия от интересов России, то ведь такое смешение происходит безотчетно и невольно. «Я предан общему благу, я хочу спасти и осчастливить отечество, церковь и т. д., и я могу это сделать, если мне будет дана достаточная власть, итак, ради общего блага и спасения я обязан охранять, поддерживать и усиливать свою власть», — вот софизм, соблазняющий даже избранных. Для людей мелких существуют другие соблазны.

Но каким образом, скажут, Катков мог быть искренним религиозным человеком, если христианская религия несовместима с культом государственной силы как единого, верховного начала жизни? Христианская религия несовместима и с тем культом народности, который исповедовали славянофилы и Достоевский. Но знаю, что они были людьми искренне верующими, что они не видели противоречия в своих убеждениях и по *неведению* хотели служить двум господам. Точно то же следует сказать и о Каткове. Он был увлечен политической страстью до ослепления и под конец потерял духовное равновесие. Но своекорыстным и дурным человеком он не был никогда.